

В какой мере значимы могут быть для нас дела мирские? Дружба? Она исчезает, когда тот, к кому испытывают приязнь, погружается в бездну несчастья или когда тот, кто испытывает приязнь, поднимается на вершину могущества. Любовь? Она слепа, недолговечна или преступна. Слава? А вдруг за нею кроется обыденность или злодейство? Богатство? Да можно ли считать благом подобный вздор? Остаются так называемые счастливые дни, которые изглаживаются из памяти под гнетом повседневных домашних забот и которые не пробуждают в человеке ни желания погубить себя, ни стремления начать жизнь сначала.

Шатобриан. Жизнь Рансэ

Шли последние дни лета — лета желтого и безудержного, необузданного, такого лета, которое заставляет вспоминать о войне или о раннем детстве; но в данный момент по синеватой водной глади Каннского порта скользили косые и бледные солнечные лучи. Подходил к концу летний день, а на смену ему надвигался осенний вечер, и в воздухе витало нечто томное, золотое, великолепное, но, безусловно, тленное; получалось, будто эта красота обречена на гибель именно в силу своей избыточности.

На причале, где стоял «Нарцисс», гордость компании «Поттэн», готовясь поднять якорь, чтобы отправиться в свой знаменитый музыкальный осенний круиз, капитан Элледок и его старший помощник по обслуживанию пассажиров Чарли Болленже, замершие у трапа по стойке смирно, похоже, не обращали внимания на всю прелесть уходящего мгновения. Они принимали оживленных пассажиров на борт судна, достаточно роскошного для того, чтобы оправдать непомерную стоимость круиза. Реклама, висевшая во всех морских агентствах уже лет пятнадцать, была весьма многообещающей: вокруг эоловой арфы неведомой эпохи на лазурном фоне шел выведенный рукописным шрифтом девиз, состоявший из пяти слов: «In mare te musica sperat», что не слишком придирчивый знаток латыни перевел бы так: «На море тебя ожидает музыка».

И действительно, на протяжении десяти дней человек, обладавший вкусом к музыке и средствами для удовлетворения такового, имел возможность совершить небольшой тур по Средиземноморью в обстановке изысканной роскоши и в обществе одного-двух знаменитейших на данный момент исполнителей, корифеев музыкального мира.

С точки зрения организаторов круиза — фирмы «Поттэн», а точнее, с некоей идеальной точки зрения маршрут путешествия предопределял репертуар музыкальных произведений, а репертуар музыкальных произведений предопределял меню. Столь тонкие соответствия, поначалу не вполне четкие, стали мало-помалу превращаться в некий незыблемый ритуал, причем случалось и такое: если вдруг внезапно портилось говяжье филе «турнедо», то Россини обязательно сменялся Малером, а сами турнедо — баварской овощной смесью в горшочках. Нередко исполнители, в самый последний момент предупрежденные членами экипажа о капризах бортового рефрижератора или прибрежных рынков, испытывали своего рода нервное потрясение, что, впрочем, наряду со стоимостью круиза даже оживляло достаточно однообразное пребывание на борту. А стоимость эта, по правде говоря, составляла ни много ни мало девяносто восемь тысяч франков в классе люкс, а в первом классе — шестьдесят две тысячи франков; при этом второй класс как таковой был на «Нарциссе» упразднен отныне и навек, чтобы пощадить чувства тех привилегированных лиц, которые оказались бы менее привилегированными, чем другие. И тем не менее «Нарцисс» всегда был заполнен до отказа: в схватку за каюты вступали за два года до рейса, и люди устраивались в креслах-качалках верхней палубы точно так же, как иные — на скамьях амфитеатров Байрейта или Зальцбурга: в среде меломанов и богачей ценились общий вид зрелища, звучание, запахи,

а также изысканность повседневных вкусовых ощущений. Лишь радости пятого из чувств оставались факкультативными, что, с учетом среднего возраста пассажиров, было даже предпочтительнее.

В семнадцать часов, когда посадка должна была уже закончиться, капитан Элледок мрачно хмыкнул, достал из жилетного кармана часы и с недоверчивым выражением на лице поднес сначала к собственным глазам, а затем помахал ими перед терпеливым и гораздо менее удивленным взором Чарли Болленже. Эти двое плавали вместе уже лет десять и приобрели привычки почти супружеские, довольно странные, принимая во внимание их физические особенности.

— Спорим, Боте-Лебреш раньше семи не будет?

— Очень даже вероятно, — прозвучал в ответ мягкий, мелодичный голос Чарли Болленже, который вынужден был привыкнуть к лапидарному стилю своего начальника.

Внешность Элledoка была настолько типичной для старого морского волка: мощное телосложение, борода, густые брови и походка вразвалку, — что это произвело надлежащее впечатление на компанию «Поттэн», невзирая на его исключительную неспособность к судовождению. После ряда кораблекрушений и многочисленных аварий его вчистую отстранили от рискованных океанских рейсов и определили на безопасные маршруты, на каботажные рейсы между портами, и теперь, стоя на полукоте прочного и хорошо оснащенного судна, с помощником, достаточно сведущим в вопросах судовождения и в навигационных правилах, он уже, строго говоря, не имел возможности влипнуть в какие-либо неприятности. Патологическое самомнение, по непонятным причинам развившееся у Элledoка с юных лет, вызывало доверие к нему у судовладельцев и автоматически порождало отсутствие ини-

циативы, которую предполагает занимаемый им пост; тем не менее он культивировал в себе тягу к приключениям в стиле Конрада, ностальгию по отважным капитанам в духе Киплинга. А невозможность отдавать бесстрастным, но твердым голосом преисполненные романтики команды или подавать душераздирающие сигналы SOS постоянно давила на него тяжким грузом. По ночам ему снилось, будто он кричит в потрескивающий микрофон, находясь в самом центре циклона: «Долгота такая-то, широта такая-то, держимся хорошо... Пассажиры в безопасности!.. Остаюсь на посту!..» Увы! Наступало утро, и приходилось слать депеши совсем иного рода: «Рыба оказалась некачественной, просьба сменить поставщика» или «Необходимо приготовить кресло для пассажира-инвалида». И это в лучшем случае... Использование морзянки стало у него до такой степени естественным, что, если он вдруг употреблял самый обычный предлог вроде «от», «до», «для», это вызывало панику у подчиненных, в особенности у боязливого блондина Чарли Болленже.

Чарли родился в буржуазной семье, был гомосексуалистом и протестантом, и жизнь его представляла собой серию унижений, которые он переносил не то чтобы с радостью, но по крайней мере с кротостью; и, как это ни странно, в обществе высокомерного капитана Элледока, преисполненного тупой мужской нетерпимости, брюзливой претенциозности, он приобрел ощущение стабильности, а отношения с этим человеком, будучи абсолютно платоническими — а это было именно так, — непонятно почему придали ему уверенности в себе. Что же касается Элледока, который ненавидел по порядку коммунистов, иммигрантов и педерастов, то, как полагал Чарли, было чудом, что уже довольно давно капитан уживался с представителем этих последних.

— Наша драгоценная Эдма, — живо проговорил Чарли, — наверняка немного опоздает, однако считаю нужным доложить, что и наш великий Кройце пока еще не прибыл. Что же касается ожидания, то мы, увы, к нему привычны, мой дорогой командир!

Это был своего рода вызов, на который капитан Элледок ответил испепеляющим взглядом: он терпеть не мог этого «мы», которое все время навязывал ему Болленже. Всего три года назад капитан узнал, каков на деле моральный облик бедняги Чарли. Сойдя как-то на Капри, чтобы купить пачку табака (хотя для него священным принципом было никогда не покидать борта корабля), он обнаружил своего помощника на Пьяцетте отплясывающим ча-ча-ча в наряде таитянской женщины на пару с мускулистым островитянином. Удивительно, но, испытав в первый момент отвращение и ужас, капитан ничего преступнику не сказал, однако с той поры относился к Чарли с боязливым презрением, смешанным с состраданием. Он даже с того дня бросил курить, повинувшись странному порыву, который не в состоянии был сам себе объяснить.

— Да кто он такой, этот Кройце? — с недоверием в голосе спросил капитан.

— Понимаете, мой капитан, Кройце, Ганс-Гельмут Кройце... Видите ли, капитан, я понимаю, что вы не такой уж меломан... — Проговорив это, Чарли не смог удержаться от смешка, отчего капитан в очередной раз нахмурился. — Но так или иначе, Кройце и вправду крупнейший дирижер в мире! И, как говорят, лучший пианист... На прошлой неделе... Да в конце концов, вы же читаете «Пари-матч»?

— Нет, не хватает времени. «Матч» там или не «Матч», но Кройце опаздывает! Может быть, он и дирижирует оркестром, этот ваш Кройце, но он явно не дирижирует моим судном! А знаете, Чарли, сколько

платят вашему Кройце, чтобы тот уделывал рояль в течение десяти дней? Шестьдесят тысяч долларов! Целую кучу денег! Точнехонько! Тридцать миллионов старых франков! Что вы на это скажете, Чарли? А еще он хочет втащить на борт *свой* рояль, поскольку наш «Плейель» для него недостаточно хорош!.. Вот увидите, я его еще выдрессирую, вашего Кройце!

И, приняв вид в высшей степени мужественный, капитан Элледок принялся жевать табак, а затем выпустил струю коричневатой жижи себе под ноги, однако зловредный ветер отнес этот плевок на безусловно отутюженные брюки старшего помощника.

— О господи... — начал было расстроенный Чарли, но его причитания были прерваны радостным возгласом, донесшимся из глубин наемного «кадиллака».

Обескураженное выражение на лице Чарли мгновенно уступило место ликующему, и он поспешил навстречу подъехавшей пассажирке — мадам Эдме Боте-Лебреш собственной персоной, зато Элледок остался на месте, недвижим и глух к прозвеневшему голосу — голосу, знакомому всему современному высшему обществу, всем оперным театрам и всем претендующим на шик салонам Европы и Соединенных Штатов Америки, которые Эдма называла исключительно «Штаты».

Тем временем Эдма Боте-Лебреш, за которой следовал ее муж Арман Боте-Лебреш (в число его предприятий входила небезызвестная фирма «Сахар Лебреш»), вышла из машины и пропела своим великолепным сопрано: «Привет, капитан! Привет, Чарли! Привет, „Нарцисс“! Привет, море!» — играя роль женщины «остроумной, очаровательной и обаятельной», как она привыкла именовать саму себя. И как только раздался этот высокий, сильный голос, в порту все замерло: моряки — на своих постах, пассажиры — у ре-

лингв, чайки — в полете; и один лишь капитан Элледок, которому слышалось в этом что-то совсем иное, остался невозмутим.

Хотя Эдма Боте-Лебреш уже на протяжении двенадцати лет публично признавала, что ей за пятьдесят, одета она была по-молодежному, в костюм цвета тетеревиного крыла, а на голове у нее был белый тюрбан: ансамбль этот подчеркивал ее исключительную худобу, слегка лошадиные черты лица, миндалевидные глаза навывкате и все то, что она позволяла называть аристократическим обликом. Напротив, облик ее супруга был типичен для облика озабоченного бухгалтера. Арман Боте-Лебреш никогда никому не запомнился — за исключением тех случаев, когда человек вступал с ним в деловой контакт: вот тут-то он навсегда оставался в памяти. Ибо он был обладателем одного из крупнейших состояний Франции, а может быть, и Европы. Постоянно погруженный в раздумья, он казался рассеянным, готов был споткнуться у первого же препятствия, и его даже можно было принять за поэта не от мира сего, если, конечно, не знать, что в этой яйцеподобной лысой голове крутятся бесконечные ряды цифр и процентов. Но, будучи хозяином своего состояния и своей империи, «А. Б.-Л.» был в то же время рабом мощного компьютера, непрерывно трудившегося в холодном мозгу начиная с раннего детства и превращавшего его обладателя в одного из тысяч мучеников, извлекающих выгоду из арифметики в ее современном варианте. И в эту минуту, пока его собственный лимузин болтался где-то на автостраде, он рассчитывался с шофером наемного «кадиллака» и автоматически начислял ему двенадцать процентов чаевых — и ни сантимом больше. А Чарли Болленже в это время вынимал из багажника невероятное количество чемоданов черной кожи с неброской маркиров-

кой «Б.-Л.», прекрасно зная, что девять десятых этого багажа принадлежит Эдме, а не Арману. Тут по трапу сбежали двое крепких матросов и завладели грузом.

— Как всегда, в сто четвертую, — заявила Эдма утвердительным, а вовсе не вопросительным тоном.

Сто четвертая была ее постоянной каютой, обладавшей в ее глазах тем преимуществом (а с точки зрения капитана — недостатком), что находилась рядом с апартаментами музыкантов.

— Чарли, скажите-ка мне, я сплю рядом с певицей или рядом с Кройце? Даже не знаю, что мне приятнее слышать по утрам: трели Дориа или арпеджио Кройце... Какое наслаждение, нет, какое же это наслаждение! Я в восторге, командир, я безумно счастлива! Вас надо расцеловать... Можно?

Не ожидая ответа, Эдма метнулась к едва сдерживающему свое возмущение капитану и, как гигантская паучиха, оплела его шею, оставив свою помаду цвета герани на его черной бороде. Она была от природы наделена лукавством, которое явно восхищало Чарли Болленже и так же явно раздражало ее мужа. То, что А. Б.-Л. называл «игривостью» жены — сорок лет назад ее игривость показалась ему до такой степени очаровательной, что привела к законному браку, — так вот это свойство было одной из немногих вещей, способных оторвать его от расчетов и помешать продумать до конца ту или иную операцию. На сей раз, отметил Арман Боте-Лебреш, ее жертвой оказался напыщенный грубиян Элледок, и он обменялся мгновенной заговорщицкой улыбкой с Чарли Болленже.

— А меня? — воскликнул вышеупомянутый Чарли. — А меня, миледи? Разве мне не причитается нежный поцелуй в знак встречи давних знакомых?

— Безусловно, причитается, дорогой мой Чарли... Вы же знаете, как я всегда скучаю вдали от вас.

Побагровев от бешенства, Элледок отступил на шаг и бросил саркастический взгляд на нежно обнявшуюся парочку. «Педик и сумасшедшая, — подумал он со злобой. — Чарли Болленже целуется с женой сахарозаводчика. Чего я только не навидался за свою чертову жизнь...»

— А вы не ревнуете, месье Боте-Лебреш? — проговорил капитан насмешливо-мужественным тоном, обращаясь как мужчина к мужчине к сахарозаводчику, который, хотя и смахивал на кусок плохо прожаренной телятины, был тем не менее существом мужского пола.

Понимания он, однако, не нашел.

— Ревную? Да что вы! — процедил сквозь зубы снисходительный муж. — Пойдем, Эдма, ты не против? Я что-то устал. Нет-нет, Эдма, ничего страшного, поверь, — поспешно добавил он.

Ибо Эдма, подхваченная вихрем тревоги, порывисто обернулась к мужу, погладила его по щеке, ослабила галстук — одним словом, засуетилась вокруг него, как всегда делала всякий раз, когда вспоминала о его существовании. Будучи невестой Армана, Эдма превосходила его ростом на добрых пять сантиметров, теперь же разница между ними составляла все десять. Не переставая радоваться своему замужеству, принесшему ей огромное состояние (к чему она стремилась на протяжении всей своей юности), Эдма любила время от времени напоминать всем прочим, а заодно и себе самой, что обладает неоспоримыми правами собственности на своего мужа, на этого маленького, молчаливого человечка, который принадлежит только ей одной и которому одному принадлежат, в свою очередь, весь этот сахар, все эти предприятия, все эти деньги. И она тормошила и теребила его с капризным видом, словно маленькая девочка. Арман Боте-Лебреш,

которого бьющая через край жизненная сила и пронзительный голос жены очень быстро довели до импотенции, приписывал эти приступы возбуждения, овладевавшие время от времени высокомерной Эдмой, не удовлетворенному по его вине инстинкту материнства и потому не решался сопротивляться. Слава богу, по прошествии стольких лет Эдма забывала о существовании супруга все чаще и чаще, но в те минуты, когда она о нем вспоминала, ее действия становились все более показательными. Возможно, это было результатом стремления вычеркнуть из памяти тот факт, что Арман Боте-Лебреш мог бы стать удобным супругом для кого угодно. Сам же Арман мечтал только о том, чтобы она о нем не вспоминала вовсе, что, впрочем, было не так уж трудно.

Пробудив, как ему казалось, неосторожной репликой у Эдмы мысли о супружеской близости, Арман устремился к каюте, зная, что стоит ему растянуться на кушетке, как он избавится от назойливых забот жены. В самом деле, Эдма, которая давно возненавидела объятия мужа, но по-прежнему опасалась его домогательств, несмотря на многолетнее отчуждение между ними, все еще воображала, что она для него желанна. Боясь играть с огнем, она приближалась к Арману только тогда, когда тот сидел или стоял, ибо для нее сладострастие было связано исключительно с горизонтальным положением, зато Боте-Лебреш, этот ходячий бурдюк с золой, пользовался этим без зазрения совести и растягивался на первом попавшемся на глаза диване. Вот так на протяжении многих лет чета Боте-Лебреш, даже не отдавая себе в этом отчета, играла в «спящего кота».

Сахарный король первым ворвался в сто четвертую каюту и, едва переводя дыхание, бросился на первую же кушетку, за ним на расстоянии в полшага сле-

довала Эдма, а замыкая шествие, семенил преданный Чарли Болленже.

— Проходите же, проходите, — прощebetала Эдма, чья легкая хрипотца внезапно вызвала яростный лай в соседней каюте. — Давайте заходите... Что новенького, Чарли? Садитесь же, прошу вас.

Сама она рухнула в кресло и обвела удовлетворенным взглядом шикарное убранство каюты, столь же уродливое, сколь и знакомое. Эта пароходная каюта была обставлена и отделана известным декоратором как «настоящая пароходная каюта»: панели из мореного тика, натуральная кожа, «морской» и «английский» антураж.

— Ну так давайте рассказывайте все подряд! Во-первых, что у нас нового?.. Да, кстати, что это за зверь? — продолжала она резким, раздраженным голосом чуточку в нос, ибо собака рычала все громче.

— Это бульдог Ганса-Гельмута Кройце, — не без высокомерия проговорил Чарли. («Высокомерная скотина!» — отметила про себя Эдма.) — Он прибыл позавчера, опередив хозяина, и уже попытался укусить двоих стюардов!..

— Похоже, Кройце тоже кусается! — заявила Эдма, которая после довольно загадочного и малоприятного происшествия в Байрейте невзлюбила немцев. — Надо, чтобы хозяин заткнул этой собаке пасть, — продолжала Эдма, резко повысив голос, чтобы перекрыть громкий лай. — А может быть, кто-нибудь сподобится вышвырнуть ее в море? — добавила она еще на пол-октавы выше. — Так какие у нас новости? Коль скоро бедняга Станистасский умер нынешней весной в Мюнхене, кто унаследовал сто первую?

— Семейство Летюйе, — ответил Чарли. (Собака немедленно смолкла.) — Вам наверняка известен этот самый Эрик Летюйе? Ну у которого левацкий журнал «Форум». А в последнее время у него появились

еще и прокоммунистические тенденции. Этот Эрик Летюйе женился на наследнице металлургической фирмы «Асьери Барон»... В общем, друг мой, этот левак будет путешествовать вместе с нами. Наконец-то музыка объединила всех... И слава богу! — добавил он с чувством.

— Но ведь это потрясающе! Согласитесь! — воскликнула Эдма. — Однако до чего же странный зверь! — Произнося это, Эдма постукивала ножкой. — Может быть, его раздражает мой голос? Арман, да скажите же что-нибудь!

— Что вам хотелось бы, чтобы я сказал? — проговорил Арман бесцветным голосом, при звуках которого собака, как ни удивительно, успокоилась.

— Ну, если собаку нервируют именно женские голоса, то Дориа ожидает много забавного. Ха-ха-ха! Мне заранее смешно! — расхохоталась Эдма. — Учитывая характер Дориа, шуму будет... Да, кстати, как вам удалось заполучить ее на борт? — произнесла Эдма шепотом, уступая своему противнику из семейства собачьих, который по ту сторону переборки издавал пугающие звуки, похожие на пыхтение парового котла.

— Полагаю, что ей заплатили целое состояние, — подражая ей, еле слышно выдохнул Чарли.

— Последний из ее хахалей, должно быть, оказался более дорогостоящим, чем все прочие, — заявила Эдма злорадно и с оттенком зависти, ибо личная жизнь знаменитой Дориацчи славилась многочисленными, хотя и непродолжительными победами.

— Не думаю, что ей приходится платить за это, — проговорил Чарли, который, как девяносто процентов меломанов, был без ума от Дориа Дориацчи. — Для своих пятидесяти с хвостиком она, сами знаете, просто великолепна, — подвел он итог, внезапно покрас-

нев, однако его реплика ни в малейшей степени не смутила Эдму.

— Да, конечно, но это рано или поздно пройдет! — торжествующе воскликнула Эдма, тотчас же спровоцировав бешеный лай в соседней каюте.

— Во всяком случае, — заметил Чарли, поняв, что гроза прошла стороной, — отплывает она в одиночестве. Но полагаю, у нее есть шанс сойти на берег в компании молодого человека... В этом году у нас на борту двое пассажиров-новичков. Двое молодых людей, и один из них, между прочим, вовсе не дурен! Оценщик картин из Сиднея, Австралия, по фамилии Пейра и неизвестный двадцати пяти лет от роду, я его еще не видел; род занятий неизвестен, холост. Для нашей Дориа они будут идеальными охотничьими трофеями... Если, конечно, они до этого не подпадут под власть ваших чар! — добавил он с плутовской интонацией; при этом лежащий на кушетке Арман плотно закрыл глаза.

— Ну и льстец! — опрометчиво расхохоталась Эдма, вновь вызвав ярость собаки.

Но больше собаку никто не дразнил, и из этого заочного поединка она вышла победителем. Прощались уже почти что шепотом.

Чарли вернулся на свой пост подле Элледока, который как раз встречал великого, знаменитого Ганса-Гельмута Кройце. И Чарли тотчас же принял участие во встрече двух гигантов, двух людей, являвшихся, как полагал каждый из них, символами и повелителями двух древних и блистательных союзников: музыки и моря; однако, будучи на самом деле всего лишь их вассалами — исполнителем и мореплавателем, — они вполне могли оказаться врагами.

Ганс-Гельмут Кройце был баварцем среднего роста, топорно скроенным, с густыми, стриженными под ежик желто-серыми волосами и грубыми чертами лица, так что весь облик его напоминал антигерманские карикатуры времен Первой мировой войны. Его легко можно было представить себе в остроконечной каске ломающим ручонки младенцу. Кройце играл Дебюсси, как никто на свете. И знал об этом.

Привыкший к тому, что пятьдесят духовых инструментов, пятьдесят струнных инструментов, а также ударные и хор повинуются одному его взору, он сначала был потрясен холодностью капитана Элледока, а затем наполнился гневом. Выйдя из нового «мерседеса», такого нового, что лак его казался бесцветным, Кройце двинулся прямо на старого морского волка, прищелкнул каблуками, слегка вздернул подбородок и, глядя из-под очков, уставился на эполеты Элледока.

— Вы, месье, очевидно, являетесь лоцманом данного судна! — проговорил музыкант, четко чеканя каждое слово.

— Капитаном, месье. Я — капитан Элледок и команду судном «Нарцисс». С кем имею честь?..

Сама мысль о том, что его могут не узнать, была для Кройце непостижима, и он счел это наглостью. Не говоря ни слова, он вынул билет из правого кармана черного драпового пальто, теплого не по сезону, и стал раздраженно трясти им перед носом у Элледока, который сохранял невозмутимость и стоял, заложив руки за спину. В течение нескольких мгновений они мерили друг друга взглядами, но тут появился взволнованный Чарли и быстренько проскользнул между противниками.

— Маэстро, маэстро! — воскликнул он. — Какая честь! Маэстро Кройце! Какая радость принимать вас на борту! Позвольте представить вам капитана Элледока! Командир, это маэстро Ганс-Гельмут Кройце, ко-

тогого мы с нетерпением ожидали у себя на борту... Вы прекрасно знаете... Я же вам говорил... Мы так беспокоились...

Чарли совсем запутался в бессвязных, отчаянных попытках оправдаться, но Кройце, пройдя под самым носом все еще неподвижного капитана Элледока, твердой ногой ступил на трап.

— Будьте любезны, проводите меня в каюту, — обратился он к Чарли. — Мой пес уже там? Надеюсь, что ему давали доброкачественную пищу, — добавил он с угрозой в голосе на вычурном французском, наполовину литературном, наполовину туристическом, которым он пользовался вот уже тридцать лет, если снисходил до того, чтобы отказаться от родного языка. — Надеюсь, что мы незамедлительно поднимем якорь, — бросил он бедняге Чарли, который семенил сзади и утирал пот с лица. — Меня тошнит во время стоянок.

Тут Кройце зашел в сто третью и, встреченный глухим и грозным рычанием зверя, захлопнул дверь каюты перед носом Чарли Болленже.

Величественный капитан Элледок, покинув причал и земную твердь, размеренным шагом поднялся по трапу, после чего трап был убран. А через три минуты жалобный вой сирены перекрыл собачий лай и визг Эдмы Боте-Лебреш (которая сломала ноготь о вешалку для платья), и «Нарцисс» стал медленно удаляться от Каннского порта, скользя по перламутровой морской глади, прекрасной, как мечта, а Чарли Болленже вынужден был утирать глаза, увлажнившиеся от созерцания всей этой красоты, ибо в течение получаса солнце стало красным. Остывая, солнце заливалось кровью и заливало ею водное пространство... И скоро, очень скоро, пробившись сквозь вату накатившихся на него облаков, поначалу белых, а затем окрасив-

шихся пурпуром, это самое солнце, развернувшись назад, казалось, вернулось на свой вечный путь медлительно-неподвижного падения за горизонт.

— Хочется немножко прогуляться... А вы со мной не пойдете? Арман, встряхнитесь! Закат обещает быть чудесным, я это чувствую... Что? Вы все еще спите? Как жаль! По-настоящему жаль! Ну ладно, отдохайте, вы это заслужили, бедненький мой... — заключила Эдма и со множеством предосторожностей, бессмысленных ввиду полного отсутствия публики, проскользнула в дверь, широко распахнутую ее же собственной рукой.

При данных обстоятельствах, если Эдма Боте-Лебреш и играла в отсутствие зрителей, нельзя было утверждать, что она играла исключительно для себя самой. (Это было бы чересчур сложно, полагала она.) Выбравшись из каюты, она проскользнула в коридор, крадучись вопреки собственной воле, ибо не в ее правилах было скрывать свое присутствие. В сто первой женский голос начал исполнять финальную сцену из «Каприччио» Рихарда Штрауса. Голос был настолько пронзительным, что по телу бестрепетной Эдмы вдруг побежали мурашки. «Это голос ребенка или женщины на крайнем пределе отчаяния», — подумала она. И, редкий случай, она устремилась на палубу, не желав ничего разузнать.

И лишь гораздо позднее, во время спектакля «Каприччио» в Вене, Эдма Боте-Лебреш вспомнит этот миг, этот голос и решит, что наконец осознала все связанное с этим плаванием. А пока что, погрузившись в иные, гораздо более банальные воспоминания, извлеченные из глубин памяти, она появилась на палубе в бананового цвета брючном шелковом костюме, с ко-

торым изысканно контрастировал намотанный на тощую шею темно-синий платок, и тут Эдма окинула взглядом обе палубы, корабельные трубы, мостик, толпу и плетеные кресла тем самым «проницательным» взглядом, что так славился в ее узком кругу, — взглядом собственницы, но собственницы, преисполненной сарказма. Словно по волшебству оказавшись во власти того, что сама Эдма называла своей «аурой» (ибо она и впрямь обладала некоей силой, способной по ее желанию привлечь внимание присутствующих), кое-кто из собравшихся на палубе повернулся лицом к «грациозно-стремительной фигурке, столь элегантно одетой... и против света кажущейся совсем юной, невзирая на возраст», как мысленно охарактеризовала себя Эдма. И, улыбаясь своим преисполненным энтузиазма поданным, милостивая королева Эдма Боте-Лебреш начала спускаться по палубным сходням.

И первым, кто поцеловал ей ручку, был юноша в джинсах, необычайно красивый, быть может даже чересчур. И само собой, его представил тут же оказавшийся Чарли Болленже, успевший за последние десять минут влюбиться без памяти.

— Мадам Эдма Боте-Лебреш, позвольте представить вам месье Файяра... Андреа Файяр... Андреа!.. — воскликнул он, открыто, самозабвенно и разом преодолев все барьеры, расставленные жестоким обществом между ним и этим неизвестным молодым человеком. — Полагаю, что я вам еще о нем не рассказывал, — добавил Чарли слегка извиняющимся тоном.

Чарли Болленже и правда приносил извинения — за то, что не сумел предвидеть своей внезапно вспыхнувшей страсти к этому молодому человеку и потому не предупредил о своей страсти Эдму, точно в этом заключался его долг перед ней. На ее губах мелькнула снисходительная улыбка, он поблагодарил ее взгля-

дом, находясь в абсолютно здоровом уме, хотя оба действовали абсолютно бессознательно.

— О да, — кивнула Эдма, любезно, но слегка покровительственно, словно желая сказать: «Ладно, Чарли, он ваш. Только следите, чтобы до него не дотянулся никто другой, ибо вы его обнаружили первым». — Как же! Вы, случайно, не Андреа Файяр из... из Невера? Правильно? Дорогой мой Чарли, никогда не вздумайте говорить, будто у меня плохая память, — закончила она с нервным смешком, повергнув молодого человека в изумление.

«Этот премилый парнишка, со своим греческим носом, красивым разрезом глаз и зубами, как у молодого пса, похоже, уже давно не удивляется тому, что незнакомые его знают... — рассуждала про себя Эдма. — Только бы Чарли лишний раз не попался на удочку очередного обманщика и интригана, да еще более поднаторевшего в своем искусстве, чем другие».

Именно этим раздражали ее подобные молодые люди, все те молодые люди, кого вихрь светской жизни каждый год забрасывал в жадную до удовольствий, но чрезвычайно сплоченную среду обладателей больших состояний. Да, именно это и раздражало больше всего: нельзя было показывать всем этим молодым людям, что знаешь, чем они занимаются, а также то, что тебе ясен ход их мыслей. По большому счету в подобном торге следовало проявлять такой же цинизм, как и они. В конце концов, это были вымогатели и сутенеры, считавшие своим долгом разыгрывать чувствительные сцены, чего отнюдь не всегда требовали их жертвы. Впрочем, бывало, что эти мелкие хищники ошибались и понапрасну тратили время, как чужое, так и свое собственное, в бесплодных попытках выжать слезу или хоть каплю золотого дождя у намеренных жертвами стареющих скупердяев.